

К. Н. БАТЮШКОВ, А. С. ПУШКИН И ПРОБЛЕМА РОМАНТИЧЕСКОЙ ТИПОЛОГИИ КУЛЬТУР (ЛЕКЦИЯ)

Вадим Вацуро

Наше представление об образе Финляндии в русской поэзии отрефлектировано. Это представление, вообще говоря, основано на одной ошибке, ошибке очень понятной и очень естественной. Оно основано на романтическом понимании взаимосвязи культур, на романтическом и пре-романтическом, если угодно, на гердеровском. На представлении о том, что каждая культура имеет свою специфику, что располагаются эти культуры на некоторой параллели, а не на меридиане, т. е. не ценностная шкала построена сверху вниз и снизу вверх, а некая параллель, на которой все культуры располагаются паритетно.

Это представление создано романтизмом и нами усвоено. В нем есть только один недостаток, оно несколько неисторично, оно не учитывает стадийные представления одной культуры о другой. И чем дальше я смотрю на тексты, которыми мне пришлось заниматься вне связи с проблемой РОССИЯ И ФИНЛЯНДИЯ, под этим углом зрения, тем больше и больше начинаю ощущать и осознавать, что без исторической коррекции романтизм не откроет нам всех тайн, которые здесь содержатся. Что я имею в виду?

Начиная с известной статьи П. А. Плетнева ‘Финляндия в русской поэзии’, напечатанной в 1840-м году и создававшейся в непосредственном контакте с Я. К. Гротом, русская романтическая поэзия рассматривалась как... что ли как смешивающая два параллельных ряда культурных ассоциаций. Финляндия осмысливалась сквозь призму представлений русских поэтов о Скандинавии.

Скандинавский пантеон переносился на русскую почву. Начиная с К. Н. Батюшкова, который увидел финский ландшафт, и далее до Е. А. Баратынского и после него, до поэтов, которые прожили какое-то время в Финляндии, представление о том, что Финляндия – это страна скальдов, прочно укрепилось в русской поэзии. Вот эту мысль и оспаривал П. А. Плетнев в своей статье. Следует иметь в виду, что писалась статья в 1839-40-х годах, когда в руках у Я. К. Грота, во всяком случае, уже было издание *Калевалы*.

А если мы перенесемся на двадцать лет раньше, то, что могли знать и знали русские поэты о собственно финской культуре? А что, кстати, знали сами финны о финской культуре в 10-е годы XIX века? А они не путали скальдические ассоциации со своим фольклором? И на этот вопрос у нас однозначного, прямого ответа нет.

Давайте попробуем взять иную точку отсчета. Давайте представим себе, что русский поэт, впервые увидевший Финляндию не ранее 1807 года (начало русско-шведской войны), не знал о ней решительно ничего. Это – *tabula rasa*. Он должен на ней что-то написать. Вот если мы будем считать от этого момента, тогда для нас возникнет проблема связей несколько иная.

Она возникнет не как проблема осознанных, отрефлектированных представлений о совершенно особой фольклорной, этнической культуре, которая отделена от русской культуры почти непреодолимым языковым барьером, потому что вряд ли кто-либо из русских поэтов мог получить за короткий срок сведения о финском языке. Она возникнет не как проблема осознанных связей, а как проблема культурной диффузии. И вот здесь возникает вторая сторона.

Две культуры соприкасаются друг с другом. Они проникают одна в другую совершенно нечувствительно, еще неосознанно. Мы должны ловить крошечные сдвиги, должны двигаться маленькими шажками, отмечая специфику восприятия. Эта специфика восприятия будет в то же время спецификой дифференциации.

Нам нужно не упрекать вслед за Я. К. Гротом и П. А. Плетневым людей, ничего не знавших об особенностях чужой им культуры, не пенять, что они путают ее с другой, а пытаться посмотреть, как они преодолевают сложившийся круг поверхностных представлений о Финляндии.

Понимаете, недифференцированное представление о Финляндии как стране скальдов, стране скандинавов – оно постепенно должно преодолеваться. Вот в этом заключается проблема ранних, праисторических, условно говоря, культурных связей. Если мы попробуем взглянуть на дело с этой точки зрения, то мы несколько иначе оценим знаменитый очерк К. Н. Батюшкова ‘Картина Финляндии’.

Я позволю себе опустить анализ этого очерка и ссылаюсь сейчас на него, чтобы обозначить проблему.

Что особенно важно в этой связи отметить в указанном очерке К. Н. Батюшкова? Не то, что на финских скалах он поселяет скандинавских скальдов, и не то, что весь пантеон, связанный с Валгаллой и с обитателями Валгаллы, он переносит на эту почву. А то, что он делает нечто большее, чем эта простая культурологическая ассоциация, кстати, чрезвычайно характерная для преромантического периода русской поэзии.

Батюшковский очерк, как мы постараемся показать дальше, во-первых, предопределил параметры литературного финского пейзажа в русской поэзии. Во-вторых, он попытался ввести элементы исторической коррекции.

К. Н. Батюшкова обвиняли в том, что он перевел фрагмент из книги Ласепада об аборигенах Северной Америки и попытался по этой модели сказать что-то о населении Финляндии. Обвиняли правильно, но дело в том, что К. Н. Батюшков хотел откорректировать взгляд на Финляндию по историческим источникам, но ничего в них не нашел. Он пытался, по-видимому, проконсультиться с Н. М. Карамзиным. Он пытался заглянуть в Шлецера. И результатами этих занятий, о которых мы практически ничего не знаем (выводы можно строить только по каким-то косвенным признакам) была формула: ‘историки ничего не могут сказать о древнем населении Финляндии’. Эта лакуна (‘историки ничего не могут сказать’) и привела со стороны К. Н. Батюшкова к попытке рассмотреть данный вопрос. И вместе с тем тут проявилась культурная диффузия.

Лицейский круг. Десятые годы. Нам придется говорить о *Руслане и Людмиле*. В. К. Кюхельбекер приезжает в Петербург из Авинорма, в котором он столкнулся, правда, не с финским, но с эстонским фольклором. Впоследствии в свою повесть *Адо* он попытался включить эстонские народные песни (на самом деле, они были совершенно не народные и совершенно не эстонские). Самое движение в этом направлении, предпринятое пушкинским другом и однокашником, весьма любопытно.

Есть очень интересное наблюдение, сделанное в свое время Е. А. Бобровым, известным специалистом по русской литературе романтического периода. В одной из своих статей он заметил, что поэма *Руслан и Людмила*

А. С. Пушкина включает языковые элементы, подслушанные в среде петербургских финнов.

Как будет по-фински ‘женщина’? – *Nainen*. А ведь это – имя пушкинской героини. Причем, здесь есть несколько возможных вариантов. Эйнен – это имя героини у Э. Парни в поэме *Иснель и Аслега*, которую А. С. Пушкин, как точно известно, читал. Это – поэма, на которой он многое построил. И вместе с тем совпадение имени пушкинской героини с финским словом может не быть случайным.

Второй вопрос: почему Финн – колдун? Я не буду специально останавливаться на этом моменте, только сделаю по ходу дела несколько маленьких замечаний.

Я. К. Грот говорил П. А. Плетневу, что представления о колдовстве финнов держатся и по сие время. Другой источник – это исландские саги, пересказанные Н. М. Карамзиным и Шлецером. Все это – результат полурефлектированного и диффундирующего проникновения фольклорных, литературных и этнографических элементов в поэму.

Было и другое представление, которое тоже относится к предистории этих связей.

Я прошу иметь в виду, что поэма *Руслан и Людмила* пишется на протяжении 17-19 годов XIX века. Это очень рано. Практически русский писатель не мог знать о Финляндии в это время ничего, кроме каких-то случайных вещей. Он мог узнать и, конечно, знал очерк К. Н. Батюшкова о Финляндии, и он что-то черпал из исторических исследований Н. М. Карамзина и Шлецера. И он мог ставить определенные акценты вот на этом замечательном фрагменте из батюшковского послания к Н. И. Гнедичу:

Где финна бедного сума
С усталых плеч валится;
Несчастный к уголку садится
И, слезы утерев разданным рукавом,
Доглаживает хлеб мякиной и голодной...
Несчастный сын страны холодной!
Он с голодом, войной и русскими знаком!¹

Это – результат военных впечатлений, но не только. Приведенный фрагмент полностью соответствует теоретизированным представлениям о финнах, обитателях холодной страны, очень бедствующих. Это то, что сохранили летописи, скандинавские саги и что перекочевало потом в исторические исследования. Такова самая отдаленная предистория романтического представления о финнах.

Да, что же определил очерк К. Н. Батюшкова в восприятии Финляндии? Он определил, как я сказал уже, литературный пейзаж.

Литературный пейзаж в художественном тексте представляет собой известного рода топос, который маркируется в жанровом отношении. Я думаю, что К. Н. Батюшкову очень хотелось бы увидеть в Финляндии фьорды. Это ему очень было нужно. Финские скалы, покрытые мхом, на которых растет черная ель, качаемая ветром. Это – топос первобытной страны. Очень любопытна проекция этого топоса на европейскую литературную традицию.

Горы в европейской традиции не существовали как эстетически значимая тема – до Жан-Жака Руссо. Собственно, Руссо их открыл. И вслед за ним открыли преромантики и поздние сентименталисты, – швейцарцы. Одним из вариантов осмысления горного топоса было осмысление его как остатков хаотического, первозданного мира.

Это интересно. Когда русский романист Иван Калашников будет описывать Сибирь, он будет описывать ее почти в тех же категориях, в которых К. Н. Батюшков и русские элегики описывают Финляндию. Остатки древнего мира – мы увидим, как это проецируется далее в элегии Е. А. Баратынского. Но вместе с тем есть и другая форма литературного топоса. Это – идиллический топос. Здесь необходимы роща (причем, светлая роща), летний вечер, пение соловья. Это то, что, начиная с античной литературы, обозначается европейской традицией, как *lopos amenos*. По аналогии и в противопоставление мы можем назвать то, что закрепляется за финским пейзажем *lopos terminas*.

Первый пейзаж есть преимущественно достояние идей. Второй тяготеет скорей к кладбищенской элегии. Он дает ее фон. Нужно сказать, что элегия русская будет культивировать, главным образом, *lopos terminas*, а вот К. Н. Батюшков говорит о возможности другого толкования. Он рассказывает о финской весне и представляет ее, как время удивительного, неслыханного и невероятного, мгновенного расцвета природы. В его очерке заложена возможность понимания финского пейзажа как идиллического топоса. Как мы увидим, элементы такого понимания будут у А. С. Пушкина.

А вот теперь представьте себе следующую ситуацию. В 1807-м году К. Н. Батюшков пишет свой очерк. В 1817-м году этот очерк перепечатывается в *Опытах*. Между *Опытами* и первой публикацией очерка о Финляндии находится любопытнейший текст, который был напечатан только в наши дни.

В двухтомном собрании сочинений К. Н. Батюшкова мы находим план, сохранившийся в его бумагах, план, который мы до сих пор не знали. Он назван: 'План северной поэмы-сказки'. И датируется он В. А. Кошелевым

временем около 1809 года. У нас, к сожалению, нет сколько-нибудь твердых оснований для его датировки. Может быть, после палеографического исследования рукописи удастся найти какие-нибудь связи.

В плане сказано:

Я хочу написать поэму в 4-х песнях; сюжет: *Синеус*, брат Рурика, или другой Герой, но принадлежащий, по крайней мере по воспоминаниям, России. Театром выбираю берега Варяжского моря, провинцию Скифию; этот выбор, кажется, довольно удачен, ибо местные положения выгодны для поэзии: горы, леса, зима, снега и непроходимые степи, вид мрачной природы в противоположность весне, которая в этом климате имеет особенную прелесть; одним словом, места, которые я видел в Финляндии, — все это можно описать и оживить; ... У скандинавца сестра-волшебница — Армида. Он ее заклинает очаровать врага своего, и волшебница завлекает его в чертоги'.²

Вы здесь не ощущаете сюжетной канвы *Руслана и Людмилы*? Я сейчас высказываю гипотезу, которая требует еще очень внимательного изучения, коррекции и, может быть, поправок. Вряд ли можно рассчитывать, что эта гипотеза может быть сразу принята.

В 1815 году К. Н. Батюшков посетил молодого Пушкина в Лицее. Пушкин еще поэт, который не имеет репутации. Он только что напечатал *Послание к Батюшкову*. Об этом визите мы знаем только из фразы Пушкина: 'Передайте привет Батюшкову; обнимите его за того больного, у которого год тому назад он завоевал поэму о Бове'. Пушкин начал писать поэму о Бове в лицейские годы и не кончил. Эта фраза сейчас подвергается критическому осмыслению. Что значит 'завоевать поэму о Бове'? Бова — это не индивидуальный сюжет. Он известен всей Европе. Почему Батюшков — поэт, пользующийся репутацией одного из лидеров русской романтической поэзии, вдруг перебивает у юного, еще никому не известного мальчика-лицейста сюжет поэмы о Бове? Вот эти сомнения высказал как раз В. А. Кошелев. И он же опубликовал этот план, который почему-то не соотнес с этой фразой.

Что такое поэма о Бове? Это — сюжет волшебного-рыцарского поэмы. Если разговор Батюшкова с юным Пушкиным состоялся (а встреча могла быть и вероятнее всего была), то не сообщил ли Батюшков о своем плане? Но даже если это и не так, то в 1817-м году, когда план уже наверняка готов, Батюшков постоянно слушает фрагменты из *Руслана и Людмилы*. При всех обстоятельствах здесь столько точек соприкосновения, что нам не приходится их сбрасывать со счетов.

Поэма на древнерусский сюжет, включающий финскую тему, варьирующий поэму *Иснель и Аслега* Парни. В нее вводится Волхв. У царя варягов, у скандинавцев, есть сестра-волшебница, Армида, которая мешает любовным притязаниям главного героя, заманивает его в волшебные сады или в волшебный дворец. Все это есть в *Руслане и Людмиле*. Так что в любом случае несомненно: Батюшков собирался писать поэму на ту же самую тему, что и *Руслан и Людмила*, отправляясь от своего прозаического очерка о Финляндии. А теперь давайте посмотрим на эпизод Финна в поэме Пушкина.

Мы уже говорили о том, что предания о колдовстве финнов Пушкин знал. Знал он по-видимому, главным образом, из Карамзина. Именно Карамзин на основании исландских саг, пересказанных в том числе и Шлёцером, говорил об 'отчизне ужасов природы и злого чародейства'. Фраза в *Руслане и Людмиле* о стране, где живут седые колдуны, к которым отправляется пушкинский Финн, чтоб усвоить их тайные науки, – это предание несомненно опирается на печатный источник, Пушкину достаточно хорошо известный. Он мог прочесть все это только в 1819 году, когда поэма *Руслан и Людмила* уже была написана, но с 1816-го года он общается с Карамзиным почти каждый день. Стоит упомянуть и то, что В. К. Кюхельбекера в эстонской повести *Адо* действуют два колдуна. Вообще надо сказать, что финские и эстонские колдуны проходят по всей русской прозе этого времени.

Представление о колдовстве финнов, несомненно, входит в ассоциативную сферу, облекающую пушкинского героя, но это даже не самое важное. Особенно существенно то, что в поэме налицо представление о характере этого героя – финна.

Когда в своей замечательной книге *Скандинавская литература в России*, вышедшей посмертно, Д. М. Шарыпкин, проводил параллели со скандинавской поэмой Парни *Иснель и Аслега*, то его интересовала прежде всего проблема сходства, а не проблема дифференциации, которая актуальна сейчас для нас.³ Он говорил, в частности, о том, что образ Финна впитал в себя черты всех героев *Иснель и Аслеги*. Пушкинский герой говорит:

И все мне дико, мрачно стало.
Родная пуша, тень дубров,
Веселы игры пастухов
Ничто тоски не утешало.
В унынье сердце сохло, вяло.
И наконец задумал я
Оставить финские поля.⁴

Сходная судьба постигла Иснеля, бедного пастуха, как пишет Д. М. Шарыпкин. Вот здесь произошла удивительная абберрация, очень редкая у этого блестящего и эрудированного исследователя. Иснель не был пастухом, он был воином, он был беден, но он был воином по родовым пристрастиям, по происхождению и по установке, как и все те герои *Иснеля и Аслеги*, черты которых, с точки зрения исследователя, впитал в себя пушкинский Финн.

Разница между пушкинским Финном и его прототипом заключается в том, что пушкинский Финн – не воин, он – пастух. Вот в этой особенности я вижу первые шаги к дифференциации. Он, действительно, – финн, как понимали характер Финна исторически, социально историки того времени. Другое дело – правильно или нет. Но несомненно то, что поэт стремился показать этнически определенный характер (он беден, он пастух). Вокруг него возникает тот самый идиллический топос, основания которому дает батюшковский очерк. Это – викинги, которые набираются из дружины рыбаков, а не профессиональные воины. Это – бедный пастух, который возникает в литературном сознании поэта в окружении идиллического топоса. Данное обстоятельство представляется мне чрезвычайно существенным. Оно говорит о первых шагах к дифференциации в сознании русских литераторов того времени.

Что делает пушкинский Финн? Он же пасет стада, и в руках у него не традиционная для пасторальной поэзии свирель, а волюнка. Последняя создает представление о грубой, бедной, скудной, но идиллической жизни, в которой война – только эпизод.

Для чего все это нужно? Пушкин травестирует идиллический топос. Позвольте мне сразу отослать Вас за ассоциацией к *Эде*, в которой финская действительность предстает как сфера патриархальной идиллической жизни. Причем, эта жизнь разрушается, деформируется вторжением извне. Если угодно, это же – тема идиллии. Через пять лет после *Эды* Дельвиг напишет идиллию *Конец золотого века*. Имейте в виду, что и *Эда* и *Конец золотого века* построены на аналогиях, а аналогия – это инструмент литературного сознания романтического периода.

Романтик ‘проигрывает’ руссоистскую ситуацию. Он показывает Аркадию, античную Аркадию, в которой есть девушка – порождение этого аркадского мира; является человек из города, и пастушка превращается в Офелию. Она кончает с собой, потому что ее чувства растоптаны, и весь этот идиллический мир потерпел крушение. Во всем этом можно увидеть общую сюжетную схему *Эды*, но только если иметь в виду, что русский поэт романтического периода свободно переносит свой топос с севера на юг и обратно. Общая концепция идиллического мира в *Эде* остается. Этот

идиллический мир формирует отец Эды, наделенный бытовыми чертами финского крестьянина, подсмотренные Баратынским.

Но вернемся к Пушкину. Поэма *Руслан и Людмила* содержит одну очень существенную для молодого Пушкина концепцию. Это – концепция человеческого характера, которая выражается прежде всего в любви. Для юного Пушкина, который будет атаковать элегический жанр, очень существенно то обстоятельство, что поступки и помыслы любовника, возлюбленного, юноши очень сильно окрашены чувственным началом. Если хотите, это вообще очень характерно для романтического восприятия. Эту полноту жизненных сил мы видим в раннем немецком романтизме. Для всей группы поэтов, связанных

Пушкиным послелицейское время, очень существенна полнота жизни. Поэтому у них воспевается вино, поэтому у них воспеваются гетеры, поэтому тема пира для них становится центральной и образующей. Это – проблема человеческого характера. Поэтому Пушкин начинает в *Руслане и Людмиле* пародировать традиционные представления.

Он начинает травестировать сюжеты. Один из этих травестированных сюжетов очень хорошо известен, о чем уже многократно писалось. Это – *Двенадцать спящих дев*, знаменитая баллада В. А. Жуковского.

В чем заключается смысл травести? В том, что хазарский хан Ратмир появляется в заколдованном замке, где его встречает заколдованная девушка. Что должен сделать и что делает в этом случае Вадим Жуковского? Он сохраняет верность своей первой любви. Он расколдовывает замок.

Что с точки зрения Пушкина должен сделать нормальный молодой человек? Это самое и делает хан Ратмир. Он вступает в непосредственные любовные отношения и вряд ли не со всеми вместе. Потом он уединяется со своей пастушкой. Пушкин впоследствии даже несколько стеснялся: ‘непростительно было (особенно в мои лета) пародировать девственное, поэтическое создание [Жуковского]’.⁵ Но не пародировать он не мог, потому что это совершенно иная специфика характера – она противоположна той концепции, которую предлагает Жуковский.

А теперь давайте посмотрим на эпизод с Финном.

Мы тоже знаем, что это – пародия на *Песню Гаральда Смелого*, известную по *Датской истории* Малле, многократно переведенную, в том числе и Батюшковым. Викинг, пытаясь завоевать руку своей возлюбленной, совершает воинские подвиги, привозит добычу, возвращается увенчанным славой, а дева русская Гаральда призывает. Пушкин продолжает этот сюжет за границы рыцарской баллады, воплощающей сюжет рыцарской любви-

томления. Гаральд не пытается возлюбленную завоевать, он пытается произвести на нее впечатление.

Что делает Финн? Он повторяет схему поведения Гаральда?

Юный Пушкин реалистически подчеркивает, что время-то идет. Дева-юная – она презирала Гаральда пять лет тому назад, потом он на пять лет уезжает и приезжает с добычей, но дева русская становится на пять лет старше. Ну, хорошо, до какой поры может Гаральд стараться произвести на нее впечатление? – Пока она не превратится в старуху дряхлую, седую. Именно так все и происходит в эпизоде с Финном. Он добивается ее любви, и это – зеркальное отражение второй темы из *Двенадцати спящих дев*. В первом случае он добивается своего, как и полагается делать нормальному человеку с точки зрения юноши Пушкина; во втором случае он добивается своего, но ему это уже не нужно, потому что Наина превратилась в старуху, да еще обуреваемую поздней страстью. Теперь рыцарь Гаральд должен бежать, сломя голову, от этой своей победы.

Эпизод с Финном является ведущим элементом конструкции *Руслана и Людмилы*, потому что самый характер героя потом проецируется в собственное творчество Пушкина и создаст его элгию. Это – элгия любви-страсти. Вот тогда Пушкин заново обратится к традиции Парни. Тогда он напишет стихотворение ‘Мечтателю’, в котором будет рисовать человека, обуреваемого страстью-томлением, и представит его в виде человека, который не способен чувствовать. Вот если тебя постигнет страшное безумие любви, когда ночами ты будешь раздирать жаркие покровы и сохнуть в бешенстве бесплодного желанья, вот тогда я поверю в твои чувства, – это и есть концепция любви-страсти в романтическом смысле.

Все это заложено в *Руслане и Людмиле*. В данном отношении финский эпизод был не только попыткой интерпретации тех скудных сведений, которые Пушкин получил, но и попыткой построить на этой интерпретации известного рода литературную концепцию.

Примечания

1. К. Н. Батюшков. *Сочинения*. В 2-х томах. М., 1989, т. 2: 69.
2. Там же, стр. 56.
3. Д. М. Шарыпкин. *Скандинавская литература в России*. Л., 1980:133.
4. А. С. Пушкин. *Полное собрание сочинений в 10-ти томах*. М., 1963, т. 4:22.
5. Пушкин, 1964, т. 7:169.

SLAVIC ALMANAC

THE SOUTH AFRICAN YEAR BOOK FOR
SLAVIC, CENTRAL AND EAST EUROPEAN STUDIES

Vol 9 2003

UNIVERSITY OF SOUTH AFRICA

EDITORS

Agata Krzychylkiewicz
University of South Africa

Efim Kurganov
University of Helsinki, Finland

Henrietta Mondry
University of Canterbury, New Zealand

Joseph Sherman
University of Oxford, United Kingdom

EDITORIAL ADVISERS

Cedric Ginsberg
University of South Africa
Joan Delaney Grossman,
University of California, Berkeley, United States of America

Mikhail Krutikov,
University of Michigan, United States of America

Robert Rothstein,
University of Massachusetts, United States of America

Janina Salajczyk,
University of Gdansk, Poland

Seth L. Woltz,
University of Texas, United States of America